

Читайте в серии:

В. Кунин «Интердевочка»

В. Кунин «Сошедшие с небес»

О. Руднев «Долгая дорога в дюнах»

О. Руднев «Долгая дорога в дюнах II.

История продолжается»

О. Руднев «Рейс 317»

И. Грекова «Хозяйка гостиницы»

И. Грекова «Свежо предание»

К. Шахназаров «Курьер»

И. Велембовская «Женщины»

Вера Панова

Сентиментальный
роман



АЗБУКА

Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
П16

Разработка серийного оформления и дизайн обложки
Анастасии Ивановой

Панова В.

П16 Сентиментальный роман : роман / Вера Панова. — М. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — 272 с. — (Как мы жили. Лучшее в советской прозе).

ISBN 978-5-389-29121-8

1920-е годы. Кипящий бурными событиями южный городок. Здесь живет молодой журналист Шурка Севастьянов. Живет жадно, взахлеб, не зная усталости и компромиссов.

Быть «сентиментальным» для Шурки и его друзей-комсомольцев — мещанство и пошлость. Пошлостью они считают и мечты их знакомой девушки о лакированных туфлях, шелковых чулках и кружевном белье. Севастьянов убежден, что любви не существует. Если даже она и есть, то это верный знак мещанства, поэтому он решает отдать себя борьбе с этим чувством.

Но то, чего, по мнению Шурки Севастьянова, не существует, очень скоро ворвется в его жизнь катастрофой и стихийным бедствием.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-29121-8

© Панова В. Ф., наследники, 2025
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство АЗБУКА®

О юность легкая моя!

Пушкин

1

После долгой разлуки Севастьянов ехал в город своей юности.

Когда-то Илья Городницкий рассказывал:

«Я гимназистом ушел из дому. Черт знает, где только не был. В Тифлисе при меньшевиках работал в подполье, накрыли, сидел в камере смертников, уцелел чудом. Был комиссаром дивизии, членом ревтрибунала, воевал, учился, жил в Москве, в Гамбурге, в Париже, написал книгу. И вот приезжаю домой. На Старопочтовой цветут акации. В тротуаре выбоины на тех же местах. Старые евреи сидят под акациями на стульях, дышат воздухом. Не помню, кто такие. Ну, думаю, меня тем более не узнать. У меня, между прочим, борода и заграничный реглан. Прошел и слышу:

— Володьки Городницкого сын. (Равнодушно.)

— Возмужал.

— Возмужал...»

Узнают ли Севастьянова старожилы родимых мест? Много лет прошло, он совсем от этих мест отбилсЯ, считал себя прирожденным москвичом. И кто там остался из старожилков? Пятилетки, переселения, война

перетасовали людей. В городе новые улицы, новые парки — город в войну был сильно разрушен, теперь отстроен. Говорят, хорошо отстроен.

Севастьянов ехал туда на день, от поезда до поезда, просто взглянуть... Ехал из санатория, в вагоне были сплошь курортники, возвращающиеся домой: женщины с шоколадными руками, обнаженными до плеч, и с яркими губами на шоколадных лицах; мужчины в светлых рубашках. Их голоса были еще по-курортному оживленными, празднично беззаботными. Мужчины острили; женщины кокетливо вскрикивали... Детишки с выгоревшими на солнце головами томились и капризничали в вагонном бездействии. Багажные полки были забиты новенькими белыми корзинами с фруктами. Пахло яблоками и виноградом. Резвый ветер дул в окна.

Горы кончились. Поезд шел через степь. Севастьянов до вечера простоял в тамбуре, положив локти на опущенную раму окна. Два месяца назад, с самолета, он ничего не увидел: был болен и, взглянув вниз с высоты облаков, закрывал глаза от слабости... Сейчас были убраны хлеба, и обнаженно и величаво лежала земля, отдыхая от праведных трудов, — желто-серое жнивье, орошенное яично-желтой сурепкой, — серый цвет и желтый цвет до горизонта. На откосе за окном, казалось — на расстоянии вытянутой руки, бесплотно трепыхались сухие бледно-лиловые бессмертники.

Кое-где пахали, черная полоса опоясывала край земли — черное море, маленький трактор бороздил черное море. Потом заполняла все видимое пространство бурая отава, по отаве паслись пестрые коровы. Седой чабан в соломенной шляпе сидел на насыпи, свесив бо-

сые старые ноги, и пил молоко из бутылки. В другом месте пасла стадо девушка городского вида, она медленно шла с хворостиной в руке и читала книгу, на ее склоненной шее, в вырезе платья, обрисовывались позвонки, оборка широкой юбки вилась вокруг колен.

Круглыми комочками дыма попахивала даль, мимоходом в вагонное окно влетело тарахтенье молотилки, три такта: та-та-та.

Станица, беленые хаты, колодец на улице. Женщина, скалясь от солнца из-под белого платка, крутила колодезный ворот и глядела на поезд. И так же знойно скалился, глядя из-под ладони, маленький мальчик, стоящий возле женщины. Тяжелое ведро медленно и прямо подымалось из колодца, над дверями хат прибиты гирлянды лука и связки перца, красного как огонь.

Станции — огнедышащие острова: жгучая земля в мазуте и штыбе, сверкание рельсов и скрежет железа, элеваторы, паровозы, пакгаузы, грузы... И снова поезд бежал через простор, обдуваемый ветром, степная дорога, добела испепеленная зноем, бежала рядом с полотном, серая тучка пыли катилась по дороге, а перед тучкой грузовик, нагруженный мешками. И — то курган замыкал распаханную в окне картину, то высокая скирда. И скирды были задумчивы и вечны, как курганы.

На остановках Севастьянов выходил, смотрел на новые вокзальчики легкой павильонной конструкции, они были современной и чище прежних станционных зданий. Покупал помидоры, арбузы, вареные кукурузные початки — в детстве все это было вкусней. В общем, он отнесся к родной своей степи с родственным вниманием, но без умиления — ведь какие пространства

исколесил за эти годы, в каких краях не побывал. Так же кружили и плыли навстречу иные просторы. Там тоже насыпи и бессмертники на насыпях. И мягкая южная речь с придыханиями и неправильностями, от которых в свое время отучался в Москве, — эта речь звучит и под другими широтами...

Поезд приходил в *** утром. Севастьянов встал раньше всех не из чувствительных побуждений, просто он не любил суеты и сутолоки, которые бывают перед приездом в большой город.

Вагон спал, розовое небо светило в окна справа. На некоторых подушках лежало по две головы, женская и детская, голова ребенка льнула к материнскому плечу. Темные руки выделялись на белых простынях. На верхней полке парень с голой бронзовой спиной безмятежно храпел, лежа на животе и повернув вбок счастливое лицо. Севастьянов не торопясь, без помехи умылся, надел свежую рубашку, убрал в чемодан дорожные вещи.

— Не желаете чаю? — тихим голосом спросил, заглянув к нему, проводник... Со стаканом в руке Севастьянов вышел в тамбур к своему окну, и в этот момент поезд приостановился у разъезда. Разъезд как разъезд, желтый домишко, капуста и тыквы на грядках, белье на веревке. Безымянный разъезд в степи, остановка на полминуты, но Севастьянова будто окликнул кто: «Эй, посмотри, не узнаешь разве?», он вздрогнул и увидел за окном себя, молодого, шагающего, улыбаясь, к поезду, с волосами, раскиданными ветерком...

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала — каждая спаленная былинка, доживающая лето, держала свой сияющий дрожащий алмаз, а капустные листья в маленьком ого-

роде были усыпаны частыми сизыми каплями. И Севастьянов вспомнил точно такое алмазное утро, солнце так же играло, лежа низко, и степь переливалась, — но она была зеленая! Далеко-далеко то утро, там теснятся юные лица сверстников, звучат голоса, — там он всходит по ступенькам железной лестницы, ступеньки громяхают как гром небесный, — там он пишет свои первые строчки и изображает на карнавале какого-то лорда...

Было утро, степь переливалась, он шел по степи, вот этот самый Севастьянов, что стоит сейчас тут в вагонном тамбуре со стаканом чая в руках. Тогда эти руки были розовые и юношеские, с гибкими пальцами и запястьями как из железа, и он ими беспечно размахивал на ходу. Он шел по степи, трава была густая, холодная, — а при чем тут разъезд, стой! Разве был разъезд? Значит, был, если запомнился навеки. Был разъезд, было утро, Севастьянов шел по алмазам и любил, так любил, что даже воспоминание об этой любви обожгло ему глаза. Он любил неимоверно и небывало, а штаны у него до колен были мокрые от росы.

2

Это какого ж лорда он представлял, Керзона, что ли? Или Чемберлена, с Чемберленом у нас тоже были счеты, даже на спичечных коробках, помнится, было напечатано: «Наш ответ Чемберлену».

Во всяком случае, Севастьянов был на карнавале в цилиндре. Стоял на грузовике, рядом кулак с бородой, поп с бородой, раввин с бородой и кто-то еще в цилиндре — Ллойд Джордж?.. На другом грузовике

ребята были загримированы под китайцев, индусов, негров: Интернационал.

Они продвигались над теснотой людских голов, среди знамен алых, малиновых и густо-вишневых. (Тяжелый бархат цвета черной вишни. Ведь как бедны были в те годы, а самый слабенький заводик выносил знамя из шелка или бархата, кумач шел только на лозунги да на косынки женщинам...) Знамена, оркестры и хоры обгоняли едущих. Каждый оркестр играл свое, каждый хор пел свое, песня наплывала на песню и марш на марш. Иногда это все останавливалось: когда впереди где-то образовывался затор; и грузовики стояли затертые; а потом опять все медленно текло — красное, золотое, медное, скопление людей и музыки — вдоль Коммунистической. Во время остановок девчата в украинских костюмах, размахивая лентами, плясали на мостовой казачка и шамиля.

А какая-то дивчина стояла на крыше университетского здания — пять этажей — на самом краю. Крыша была покатая, держаться не за что. Но каждую демонстрацию стояла там дивчина, первого мая и седьмого ноября, то в светлом платье, то в пальто, по сезону. Она демонстрировала свое бесстрашие. Показывая на нее говорили: «Вон она опять». Жутковато было, как она стоит на самом краешке покатой крыши, ничем не защищенная от смертельной высоты. Ее стриженные волосы трепал ветер.

Севастьянов раскланивался, поднимая цилиндр, и кричал: «гау ду ю ду» и «ол райт» — больше он по-английски не знал ничего. Поп крестил народ. Кулак гримасничал. Каждый с усердием нес свою агитационную службу.

Знакомые ребята, узнавая их, кричали: «Ванька Яковенко, здорово! Ленька Эгерштром, Шурка Севастьянов, здорово!» — «Здорово!» — отвечал Севастьянов, забывая, что он лорд. Выкрикивались революционные лозунги — он кричал «ура» со всеми.

3

В одну весну были три пасхи: еврейская, русская и комсомольская.

На еврейскую целой оравой нагрянули к Семке Городницкому. Семка рад был подкормить товарищей; и в то же время страдал, что у него, безбожника, в доме пасхальная еда на столе. Все в этом доме вызывало его протест и возмущение, и прежде всего отец. Старик Городницкий в крахмальной манишке сидел на диване и хвастал. Семке хотелось, чтобы ребята побыстрее наелись и ушли, и он, Семка, с ними. Щурясь от стыда, он предлагал басом: «Пошли пройтись». Но старик Городницкий вцепился в них, мальчишек, не хотел их отпускать, пока они не выслушают его рассказов об успехах Ильи, о талантах Ильи, о блестящем будущем Ильи.

— Вы читали его статью в «Известиях»? Чтобы написать такую большую статью, надо разбираться в вопросе, ха-ха? Говорят, такому-то и такому-то понравилась статья. Теперь он пишет книгу. Ему дали отпуск, чтобы он написал книгу. Неограниченный отпуск, вам понятно? На полгода, на год, пожалуйста. А со здоровьем неважно, катар желудка еще с тюрьмы и головные боли, и он же не бережется, ему предлагают Кисловодск и что хотите, а он сидит в Москве и пишет книгу!

Выцветшие, навывкате, глаза старика Городницкого наливались слезами и кровью, когда он хвастал Ильей, своим старшим сыном. При белых он кричал, что знать не знает этого выроodka, пусть издохнет в кутузке. Сейчас говорил:

— У нас в роду были коммерсанты, музыканты, сапожники, теперь бог даст, будет большой политический деятель. Выпьем за него! Мы еще о нем услышим!

Он жаждал услышать скорей, его белые руки в коричневых крапинках вздрагивали от нетерпения... Дама с черными усами и громадным бюстом, на котором среди волнующихся оборок вздымался и опадал брильянтовый якорь, хлопотала у стола и подкладывала ребятам то фаршированной рыбы, то мяса в сладкой подливке. Перед каждым стояла салфетка, как маленький снежный сугроб. Никто из ребят не притронулся к этим голубоватым блестящим холмикам. Ножи и вилки были громоздкие, тяжелые, с вензелями... Семка яростно щурился, ничего не ел, и его горбоносое длинное лицо, искаженное отвращением, говорило: «Я не выбирал себе отца. Я не фаршировал рыбу. Эта тетка с усами и брильянтами не имеет ко мне отношения. И вообще я повешусь». Но ребятам интересно было послушать об Илье, их увлекала эта биография, такая молодая и такая бурная, полная дерзости и перемен, они примеряли эту судьбу на себя. Севастьянов думал: Илье повезло в том смысле, что он раньше родился. Родись я пораньше года на три-четыре, я тоже участвовал бы в Гражданской войне, во всех этих событиях. Но ведь это начало, думал он. А угнетенный Китай, а немецкий пролетариат... Понадобимся и мы.

Пока же они мастерили богов для публичного сожжения. Наперерез наступающей православной пасхе

они подводили, как мину, свою комсомольскую пасху. Семка Городницкий делал в клубе коммунальников доклад: «Существовал ли Христос? Евангельская легенда с точки зрения астральной теории шлиссельбуржца Морозова». Он гордился, что взял такой оригинальный, эффектный материал и что кто-то сорвал афишу и пришлось делать новую. Севастьянов на доклад не пошел, для него вопрос был ясен, а забежал за Зойкой маленькой и Зоей большой, чтобы вместе идти на сожжение.

Он шел за руку с Зойкой маленькой. Ее пальцы угрелись в его руке, лежали, свернувшись уютно. Был расцвет их дружбы, еще ничем не омраченной, доверчивой. Их соединенные руки были спокойны. Так могли бы идти брат и сестра, полные взаимного понимания и доброжелательства. Зоя большая шла впереди, окруженная ребятами. Ребята напропалую острили, толкались, Ленька Эгерштром даже прошелся перед Зоей на руках, благо подморозило. Зоин смех взлетал высоко и нервно. Севастьянов нарочно сдерживал шаг, чтобы с Зойкой маленькой отстать от них немножко: он не одобрял, когда ребята поднимали на улице возню и гам; пускай они влюблены по уши, — он находил их поведение дурацким.

В темных улицах, невысоко над землей, плыли пятна разноцветного света; обгоняя друг друга, двигались по направлению к «границе». Это люди шли в церковь и несли фонарики — розовые, желтые, полосатые. Маленьким мальчонкой Севастьянов тоже ходил с покойной матерью к заутрене, неся за проволочную дужку бумажный фонарик. Фонарик складывался и растягивался, как гармонь. На дне у него была вставлена свечка, лепесток ее огня сквозь отверстие картонной

крышки дышал на руку слабым теплом. Воспоминание слабенькое, как это зыбкое дыхание! Севастьянов вырос и шел в компании ребят сжигать богов.

— Даешь с дороги, а ну!.. — закричали сзади, выругавшись. Севастьяновская компания посторонилась. Ее обогнали парни с дубинами. В центре группы несли на носилках огромный, хитроумно склеенный фонарь — в виде замка с башнями, в нем горело много свечей, — должно быть, сообща соорудили... Стуча сапогами и ругаясь, парни с дубинами прошли. Зойка маленькая сказала:

— Вот это фонарь, я понимаю.

Сказала для того, чтобы Севастьянов не подумал, будто ей отвратительно и горько от мерзких слов, которые прокричали, проходя, парни с дубинами. «Ничуть не горько, подумаешь, — хотела она сказать своим замечанием, — я даже внимания не обратила — рассматривала фонарь». Она шла всюду, где можно видеть людей и события; но все грубое ее ранило, и она стыдилась своих ран, она хотела быть неуязвимой.

Открылся черный простор «границы» — весь в цветных созвездьях, тепло и туманно толпящихся у самой земли, кружащих над нею, перемещающихся и сталкивающихся.

— Красиво все-таки, — сказала Зоя большая, оглянувшись на маленькую.

— Спрашиваешь! — воскликнул Ленка Эгерштром, выслуживаясь. — Конечно, красиво!

Но Зойка маленькая сказала своим холодноватым, ясным голосом:

— Смотря что считать красивым. Если видеть красоту в религиозном дурмане...

И даже самые влюбленные, даже Спирька Савчук, который, по Ленькиному уверению, от любви к большой Зое заболел малярией, — они все присоединились к Зойке маленькой: на черта красота, если от нее вред трудящимся. Каленым железом выжигать такую красоту, которая опиум для народа! Тем более, тут и красоты никакой нет: идут, несут паршивенькие фонарики, нашли чем восхищаться. То ли дело была иллюминация в пятилетие Октября, говорили ребята, когда вдоль чуть ли не всей Коммунистической горели гирляндами лампочки, а на учреждениях горели красные звезды...

Потом они жгли Христа, и Иегову, и еще всяких больших соломенных богов с ярко размалеванными лицами. Костер был разведен на широком перекрестке Коммунистической и Мариупольского, на скрещении трамвайных путей. Движение прекратилось. Длинные цепочки трамвайных вагонов выстроились с четырех сторон. Подходил еще вагон и послушно замирал в конце цепочки. Народ усыпал все четыре угла и близкие кварталы, а вокруг костра были комсомольцы, сотни комсомольцев с Югаем во главе.

Боги пылали под звон пасхальных колоколов. Столбы искр летели в городское небо. Свет костра растекался по проводам вверх и по рельсам на земле, пахло дымом. Югай стоял близко к костру, по его лицу проносились тени и сияние от пляшущего огня. Он стоял в своей кожаной куртке, с кобурой у пояса, и смотрел, как сгорают боги.

Боги сгорели, толпы хлынули прочь от перекрестка, трамваи двинулись, осторожно звеня... Колокола все били. Севастьянов и Зойка маленькая заглянули еще

в молодежный клуб и послушали диспут: «Может ли комсомолец есть куличи». Установили, что не может, а на другой день Севастьянов ел кулич и дома у тети Мани, и у Ваньки Яковенко, и у Зойки маленькой, — во всех домах справляли пасху, если не родители, так бабушки и дедушки... Севастьянов не был двурушником, просто ему всегда хотелось есть, а вкусная еда была редкостью в его жизни.

4

Дама с черными усами бросила свой якорь под кровом старика Городницкого. Сразу после пасхи она туда въехала, и старик сходил с ней в загс. У них на доме вокруг парадной двери были навешаны эмалевые дощечки: «Зубной врач», «Член коллегии защитников», «Сифилис, венерические здесь, 2-й этаж». К этому дама прибавила большую поперечную вывеску: «Мережка и зигзаг». В квартиру стали ходить заказчицы. Это было последней каплей в чаше идейных разногласий, существовавших между Семкой и его отцом. Семка взбунтовался и ушел из дому.

Старик Городницкий был видный, откормленный, благодушный, с холеными руками. Он носил гетры и золотые запонки на манжетах. До революции он был коммивояжером, ездил по России с образчиками парфюмерных товаров. Потом спекулировал иностранной валютой. В двадцатом году у него сделали обыск, забрали доллары и его самого забрали в Чека, но скоро выпустили. Теперь он ходил по магазинам и конторам и предлагал свои услуги, но биржа труда не допускала его на работу, потому что он был чуждый элемент.

А Семка был черный, как галчонок, горбоносый, лохматый, сутулый и такой узкоплечий, что когда он держал руки в карманах, то казалось, что плеч у него нет вовсе. Было известно, что он шляпа, хотя и может сделать доклад со ссылками на Маркса и Энгельса и читает наизусть гибель стихов. Читал он по преимуществу Маяковского и — чтобы исполнение наилучшим образом соответствовало исполняемому — путем особых упражнений выработал себе глубокий гулкий бас.

Держа руки в карманах, он вышел на парадное, увешанное эмалевыми дощечками. В спину ему гремел негодующий монолог старика. Верещала дама. Семка сошел с крыльца и рассеянно пошел по Старопочтовой.

Идти ему было некуда. Со всеми родственниками, кроме Ильи, у него были те же разногласия, что и с отцом. Илья не интересовался младшим братом, жил вдалеке своей завидной жизнью, гордость не позволила бы Семке обратиться к нему.

Семка пошел к Югаю, тот сказал:

— Ну правильно, давно бы так. — И обещал помочь в смысле работы и в смысле жилья.

К тому времени и у Севастьянова в семействе стало твориться черт знает что. Дядька Пимен всем испакостил жизнь, тетя Маня, ища на него управы, обила пороги фабкома и женотдела. Севастьянов маленько оттузил дядьку за то, что тот с пьяных глаз вздумал приставать к Нельке. Севастьянов тузил его в уверенности, что делает святое дело, наказывает свинство и охраняет благообразие в семье. Но тетя Маня вдруг обиделась и накричала на него, чтоб не лез не в свои дела, что он обязан дяде ноги мыть, и неужели не видят нахальные его глаза, что он тут сбоку припеку...

Севастьянову окончательно противно стало приходить домой, он сказал Семке:

— Я тоже от своих буду драпать, возьмешь меня вместе жить?

— Только условие, — ответил Семка торжественным басом, — жить по-комсомольски. Никакого мелкобуржуазного обрастания.

Севастьянов пообещал, что обрастания не будет... И вот они вдвоем в комитете у Югая. Севастьянов сидит на углу стола и жует булку — он с работы. Семка курит, отвернувшись с суровым видом. Севастьянов соображает, что Семка тоже голодный, и делит булку на двоих.

— Вы там каким-то совбарышням выдаете ордера... — говорит Югай в телефонную трубку.

Он сидит, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, на нем кепка, сдернутая назад, и добела вытертая кожаная куртка с оборванными пуговицами. В этой куртке он приехал из Москвы, носил ее зимой и летом, невозможно было представить себе Югая в чем-нибудь другом.

Он легко сердился. Глаза становились недобрыми — узкие глаза, словно подпертые широкими скулами. Но держал себя в руках — не сорвется, не закричит. Только челюсти сожмутся и губы начинают двигаться медленно, одеревенело, как с сильного мороза.

— Совбарышням выдаете, — медленно говорит он, плечом прижав трубку к уху, глаза недобрые. — А наш активист живет в обстановке частной мастерской, хороший комсомолец вынужден жить в нэпманской кодле...

Который раз Югай произносит по телефону эти речи, а Семка Городницкий ночует тем временем у ребят,

знакомых и незнакомых, — то на полу, то с кем-то на кровати, то в общежитии для ответственных работников, то на стульях в передней коммунальной квартиры, куда он попал впервые в жизни, а как-то Севастьянов крадучись привел его к себе в Балобановку. Все спали в жаркой комнатке, на кровати дядька Пимен с тетей Маней, Нелька на коротком сундучке с приставленным в изножье стулом, в полумраке на Нелькиной голове белели бумажные рожки. Дядька Пимен и тетя Маня храпели, словно состязались, кто громче. Густо, тяжело пахло керосином от стоявшей на столе лампочки с жестяным рефлектором. Огонек лампочки слабо бродил, припадая, по накалившемуся докрасна фитилю — в лампе кончился керосин, но казалось, что огонь томится и шарахается от храпа, гремящего с кровати. Севастьянов постелил на своем месте, между дверью и комодом, задул лампочку, — осторожно шепчась, они с Семкой легли. Утром был скандал, Севастьянов выдержал его стойко...

Но вот в один прекрасный день они шли из жилотдела с ордером, Югай добился своего через губком партии, где Семку знали как антирелигиозного пропагандиста. Ордер был на Семкино имя; Севастьянов положил его в свой карман, боясь, что Семка потеряет.

Шли веселые, и день был веселый — теплынь, голубизна, сияние, наметившиеся бутоны на акациях как огуречные семечки. Звеня, прошкандыбал маленький красный трамвай, Севастьянов и Семка на ходу вскочили в прицепку. Это была платформа, открытая с боков; скамьи для пассажиров стояли поперек, а вдоль платформы по обе стороны тянулась подножка, и по ней, придерживаясь за поручни, ловко двигался бочком

кондуктор и продавал билеты. За Севастьяновым и Семкой вскочил беспризорный в лохмотьях, спел модную чувствительную песню, где были слова «моя мама шансонетка», прошелся по подножке, небрежно собирая гонорар, под конец небрежно, не глядя, вынул папиросу изо рта у кондуктора, сунул себе в рот и соскочил...

А Севастьянов и Семка приехали к дому, где им предстояло жить. Дом был трехэтажный, серый, с выступающим облупленным фонарем; большая витрина в нижнем этаже замазана мелом, там шел ремонт, через сколько-то времени там открыли кафе.

Севастьянов и Семка заняли на третьем этаже комнату при кухне. Комната имела такой вид, будто ее обстреляли из пулемета; даже на потолке зияли дыры от гвоздей, вырванных вместе с штукатуркой. Окно выходило во двор, на кирпичную стену, к кирпичной стене черной ломаной линией лепилась железная лестница. Такая же лестница вела к их жилью.

Первую ночь они ночевали на газетах, которые Севастьянов взял в экспедиции. Затем перевезли на новую квартиру свое барахлишко.

5

Нелька помогла Севастьянову собрать вещи и увязать узел. Тетя Маня была довольна и немного обижена.

— Вот теперь будешь говорить, — сказала она, — что мы тебя выжили. А мы разве выживали, да живи, пожалуйста, мешаешь, что ли? Ты не чужой, от родной сестры племянник. Живи и живи.

Дядьки дома не было.

Литературно-художественное издание
Әдеби-көркем басылым

Панова Вера

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

Ответственный редактор *М. Смылова*

Художественный редактор *А. Иванова*

Технический редактор *Л. Сеницына*

Корректоры *Н. Быкова, А. Брусник*

Компьютерная верстка *Е. Зеленина*

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 25.04.2025.

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Petersburg».

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28.

Тираж 3000 экз. Т-HWL-38239-01-R. Заказ №

Изготовитель:
ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус» –
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус»
в г. Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург,
Херсонская ул., д. 12–14, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Отпечатано в России.

Өндіруші:
«Издательская Группа
«Азбука-Аттикус» ЖШҚ –
АЗБУКА® тауар белгісінің иесі
115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
Даниловский муниципалдық округі,
Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
Эл. поштасы: sales@atticus-group.ru

Санкт-Петербург қаласындағы
«Азбука-Аттикус» Баспа Тобы»
ЖШҚ филиалы
191024, Санкт-Петербург,
Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
Эл. поштасы: trade@azbooka.spb.ru

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі (29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

